

Н. Н. Морозова
Нижний Новгород, Россия

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КАК ДИСКУРСИВНАЯ ПРАКТИКА: К ВОПРОСУ О КОНСТРУИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

АННОТАЦИЯ. В статье предлагается трактовка внешней политики в качестве дискурсивной практики, которая конституирует политическое сообщество, от имени которого артикулируется. Утверждается, что идентичность политического сообщества не объективна, а дискурсивна, поскольку она не существует независимо от дискурсивных практик, которые мобилизуются в процессе публичной легитимизации внешней политики. В таком понимании внешнеполитический дискурс, озвучивающий образы «Я» и множества «Других», становится центральной практикой в процессе производства и воспроизведения политической идентичности. В статье конструирование России как политического сообщества в постсоветском внешнеполитическом дискурсе рассматривается через призму понятий демократического и популистского антагонизма, введенных Э. Лаклау и Ш. Муффа. Эти относительно новые понятия помогают переосмыслить традиционные представления о политическом плюрализме и толерантности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: идентичность; внешняя политика; дискурс; дискурс-анализ; антагонизм; артикуляция; постструктурализм; политический плюрализм; толерантность.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Морозова Наталья Николаевна, доцент, кафедра прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации, факультет гуманитарных наук, Нижегородский филиал национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 25/12; e-mail: nnmorozova@hse.ru.

«Лингвистический переворот», произошедший в социальных науках во второй половине XX в., состоял в пересмотре статуса языка и признании его особой роли в функционировании и конструировании социальной реальности. Этот пересмотр связан с отказом от референтного понимания языка, согласно которому язык всего лишь отражает существующую реальность, а слова являются ярлыками, соответствующими тому или иному объекту внешнего мира. Благодаря достижениям структурной лингвистики, структурализма и постструктурализма на первый план выходит дифферентное представление о языке как о системе различий. В этой системе значение слов определяется различиями в их употреблении: каждое понятие вписано в последовательность или цепь, в рамках которой оно отделяется от других понятий, и ни один элемент системы не может быть определен отдельно от других [Морозов 2009: 31]. В результате язык со своей внутренней структурой и закономерностями выделяется в отдельный пласт реальности, который опосредует нашу деятельность и познание. Другими словами, язык становится «онтологически значимым»: предметы, индивиды, институты, материальные структуры, исторические события получают значение через репрезентацию в языке, и не существует никакого правильного или объективного значения помимо и вне лингвистических репрезентаций [Hansen 2006: 16].

В результате лингвистического поворота любое социальное действие становится одновременно и действием лингвистическим, поскольку субъекты — индивидуальные и коллективные — должны быть «озвучены» для своего конституирования в качестве таковых, а объективная реальность «проговорена» для своего воспроизводства или трансформации. Так, критикуя категорию субъектности как основу любых социальных отношений, Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф тридцать лет назад написали о том, что каждое общество конституирует себя в попытке подавить сознание собственной невозможности [Laclau and

Mouffe 1985: 125]. Или, как утверждает современный исследователь, «социальная реальность требует работы — дискурсивной, практической, активной работы — для своего поддержания. И эта работа никогда не перестает быть необходимой для поддержания того или иного социального порядка» [Jackson 2006: 39].

Более того, постструктуралистский поворот к языку потребовал также кардинального пересмотра методологии социальных наук. Во-первых, сменился объект исследования: в фокусе оказалось не само прошлое, а нарративы о прошлом, не акторы, события и структуры, а процессы их конструирования в языке. Во-вторых, онтология социальной реальности, укорененной в языке, привела к пересмотру эпистемологии, т. е. процесса получения социального знания. Сомнению была подвергнута сама возможность истинного знания, поскольку любое утверждение об истинности в отношении существующей реальности оказывалось «вписанным» во властные отношения, в попытку их объективации и нормализации. В результате позитивистский вопрос «почему?» — почему произошло то или иное социальное изменение — сменился постструктуралистским вопросом «как?» — как стала возможна та или иная лингвистическая репрезентация и, как следствие, тот или иной смысл и социальное действие. Ответ на этот вопрос вызвал к жизни методологию дискурсного анализа и сам термин «дискурс», не получивший, впрочем, однозначной трактовки.

Дискурс-анализ в социальных науках и международных отношениях

В настоящее время принято выделять несколько поколений теории дискурсного анализа, однако все попытки объединить исследование дискурса и исследование властных отношений восходят к традициям, заложенным французскими постструктуралистами Мишелем Фуко и Жаком Деррида [Torfing 2005: 5—9]. Так, одни исследователи акцентируют внимание не на форме и содержании тех или иных высказываний, а на

условиях их возможности, т. е. на контекстно обусловленных и разделяемых определенным социумом смыслах и значениях. Вслед за Мишелем Фуко эти исследователи используют термин «дискурс» для обозначения системы формирования высказываний, а именно совокупности базовых концептов, когнитивных кодов и нарративов, определяющих, что имеет или не имеет смысл, что может или не может быть сказано [Waever 2002: 29—32]. С этой точки зрения дискурс представляет собой многослойную структуру, в которой более глубокие и укорененные формы самоидентификации труднее подвергнуть пересмотру и политизации, чем те, что лежат на поверхности и непосредственно включены в практическую деятельность. Тем не менее изменения всегда возможны, поскольку любой дискурс возникает как интерсубъективное принятие неких смыслов в качестве объективных «институциональных» фактов в процессе социального конструирования [Guzzini 2005: 498].

Другие теоретики дискурсного анализа не склонны приравнивать дискурс к относительно устойчивой, целостной и седиментированной когнитивной структуре. Они подчеркивают принципиально открытый, нестабильный и незаконченный характер любой структуры и трактуют дискурс как «реляционную систему практик означивания, которая появилась в результате исторических и, в конечном итоге, политических интервенций и которая представляет случайный горизонт для осмысленного конструирования любого объекта» [Torfing 2005: 8]. Ключевым здесь является понятие «дифферанс» («различание»), введенное Ж. Деррида для обозначения процесса означивания, при котором понятия не присутствуют сами в себе, а оказываются вписанными в цепь или систему, отсылающую к другим понятиям через систематическую игру различий [Волков 2008: 97]. В результате социальные явления «обретают существование тогда, когда в реляционной целостности языка появляются соответствующие различия» [Морозов 2009: 49]. Суммируя, необходимо отметить, что исследователи дискурса ставят вопрос о невозможности социального за пределами лингвистического, об их соразмерности и взаимопроотяженности [Слободяник 2007: 61].

Таким образом, положение об онтологической значимости языка бросило своеобразный эпистемологический вызов социальным наукам, призывая к пересмотру их категориального аппарата, а именно к отказу от представления о структуре как о замкнутой и самодостаточной системе, детерминирующей, фиксирующей и исчерпывающей все социальные смыслы. Как отмечает Якоб Торфинг, в истории западной мысли было немало попыток представить некое трансцендентальное означаемое — религию, рациональность, природу, человечество, железные тиски капитализма — в качестве единого и внешнего по отношению к структуре упорядочивающего центра, который структурирует ее, при этом избегая собственного структурирования [Torfing 2005: 13]. Понимание логической невозможности замкнутой структуры выводит на первый план понятие о дискурсе как о реляционной системе, «в которой последовательности означающих объединены в

более или менее логически последовательное целое, но которая в то же время никогда не достигает абсолютной определенности всех отношений и смыслов и потому не является сферой чистой детерминированности» [Морозов 2009: 40].

Применительно к теории международных отношений постструктуралистский поворот к дискурсу привел не только и не столько к пересмотру принципа анархии как основополагающего универсального принципа международной системы, задающего спектр всех возможных интересов, отношений и действий акторов в системе. Гораздо более фундаментальным стал пересмотр традиционного для международных отношений деления на «внутреннее» и «внешнее» и отказ от сущностной, эссенциалистской трактовки понятия «национальное государство». Согласно этой трактовке, «внешняя» политика является проекцией «вовне» объективных целей и интересов, отражающих консенсус, сложившийся «внутри» государства как самодостаточного и автономного политического сообщества.

Однако на рубеже 1980—1990-х гг. приоритет и первичность внутренней политики по отношению к внешней были подвергнуты критике с позиций постструктурализма, поскольку именно дискурсы о «внешней» опасности и репрезентация «другого» в качестве угрозы являются необходимыми условием возможности «внутреннего» мира, где царят согласие, порядок и право. Вытеснение «вовне» внутренних противоречий, разногласий и конфликтов достигается за счет исключения и постулирования в качестве «внешних» определенных акторов, событий и интерпретаций. В результате внешняя политика концептуализируется по-новому. Она перестает соотноситься с отношениями между государствами с установленными, заранее заданными границами и превращается в практику по установлению тех самых границ, которые одновременно конституируют и государство, и международную систему [Campbell 1992: 69]. По аналогии переосмыслению подвергается и понятие «государство»: оно теряет свой естественный, самоочевидный онтологический статус, предшествующий практикам по установлению внутреннего единства и исключению различий. Именно эту проблематику отношений «Я — Другой» и, как следствие, принципиально незаконченный, не тождественный самому себе статус любого политического сообщества и символизирует введенный в начале 1990-х гг. в теорию международных отношений термин «идентичность».

Конструирование идентичности в дискурсе: теория Е. Лаклау и Ш. Муффа

Вместо того, чтобы приписывать человеческим сообществам досоциальные, имманентные идентичности, теоретики дискурс-анализа исходят из положения о том, что любое сообщество конституируется через отношения со значимыми «Другими», то есть через определение своих внешних границ [Морозов 2006]. Идентичность не объективна, а дискурсивна, поскольку она не существует независимо от дискурсивных практик, которые мобилизуются в процессе публичной легитимизации внешней политики [Hansen 2006: 5—16]. В рамках постструктурализма, согласно Хансен, процесс конструирования идентичности

характеризуется также как политический и реляционный. С одной стороны, фиксация и стабилизация одних идентичностей всегда происходит за счет замалчивания, вытеснения и исключения других, альтернативных нарративов и интерпретаций. С другой стороны, идентичность конструируется как законченная и объективная только по отношению к тому, чем она не является. Другими словами, внешнеполитический дискурс, озвучивающий образы «Я» и множества «Других», становится центральной практикой в процессе производства и воспроизведения политической идентичности, во имя и от имени которой он артикулируется.

Каким образом в дискурсе создается устойчивое и стабильное противопоставление между внутренним и внешним, между «Я» и «Другой», которое, согласно постструктуралистам, и является условием возможности социального? Ведущие теоретики постструктуралистского дискурс-анализа Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф исследуют отношения гегемонии, которые опираются на наиболее седиментированные смысловые структуры, но при этом не повторяют и не воспроизводят их; наоборот, акт гегемонии состоит в радикальном конструировании идентичностей участников, в том числе и субъекта, претендующего на роль гегемона [Laclau and Mouffe 1985: 83]. С одной стороны, необходимым условием гегемонии и политического действия как такового является стабилизация смысла и фиксация идентичности, какой бы временной и непрочной она ни была. Эта фиксация достигается путем проведения границы системы сигнификации: «вовне» вытесняются альтернативные артикуляционные практики, альтернативные цепочки значимых означающих. В результате отношения различия, внутренние для пространства дискурса, разрушаются, становясь эквивалентными друг другу и порождая «пустые означающие» [Морозов 2009: 62—63]. Вырываясь из реляционной системы дискурса и теряя свою фиксированную позицию в нем, означающие становятся символами всей социальной целостности, унифицируя ее поле и задавая ее идентичность. Вследствие такого структурного замыкания «Я» «Другой» лишается всяких позитивных качеств, так что отношения между ними превращаются в чистое отрицание друг друга, в социальный антагонизм.

В то же время, хотя дискурс стремится выстроить гегемонистскую идеологическую завершенность, любая социальная идентичность имеет случайный и парадоксальный характер, поскольку не может исключить присутствие «Другого» и достичь полноценного наличия [Torfing 2005: 15]. Так, наличие множества «плавающих означающих» и необходимость их фиксации посредством артикуляционных практик предотвращает полное замыкание и реификацию антагонизма, что в конечном итоге делает возможной политику как сферу принятия решений.

Конструирование России как сообщества в постсоветском политическом дискурсе

Попробуем применить основные положения постструктуралистской теории дискурс-анализа Лаклау и Муфф к процессу конституирования России как политического сообщества в постсо-

ветском внешнеполитическом дискурсе. Для этого воспользуемся утверждением Вячеслава Морозова о том, что «дискурсный анализ в первую очередь состоит в установлении отношений между наиболее значимыми означающими, характерных для конкретного, исторически существующего дискурса» [Морозов 2009: 57]. В период, последовавший после распада СССР, смысловое поле нового российского социума составили означающие с длительной — часто дореволюционной — концептуальной историей, помогающей переосмыслить советский опыт. Так, российский внешнеполитический дискурс 1990-х гг. предстает перед нами как попытка создания целостной и законченной реляционной системы посредством установления отношений различия между двумя ключевыми означающими: «геополитика/геополитический» и «евразийство/евразийский».

«Режим правды» советского дискурса безапелляционно относил геополитику к смысловому полю отрицаемого «Другого», трактуя ее как «направление буржуазной политической мысли, основанное на крайнем преувеличении роли географических факторов в жизни общества», как «идеологическое обоснование агрессивной внешней политики империализма» [Цыганков 1994: 59]. С окончанием биполярного противостояния геополитика не только превратилась в востребованную теорию и авторитетную политическую практику; сам термин «геополитика» стал неотъемлемой частью российского постсоветского внешнеполитического дискурса как значимое означающее. Таким образом, анализ функционирования «геополитики» как объекта дискурса и его включенности в различные цепочки означающих позволит нам проследить процесс учреждения границы между внутренним и внешним, ключевой для конституирования России как политического сообщества.

Впервые о важности геополитики официально заявил первый российский министр иностранных дел Андрей Козырев, предположив, что «геополитическое измерение наших интересов, возможно, является одним из самых нормальных критериев для определения направления нашей внешней политики» [Kozyrev 1992: 87]. Наличие у постсоветской России геополитических, наряду с экономическими и другими, национальных интересов предполагало очевидность и наглядность последних, возможность буквально «считать» их с политической карты мира. Однако для того, чтобы служить надежными политическими ориентирами, географические объекты — оси, полюса, полушария — сначала должны быть риторически «нанесены» на политическую карту. Так, утверждения Козырева о том, что «Россия является все еще отсутствующим звеном демократического полюса Северного полушария», что «любой, кто посмотрит на карту, увидит, что Соединенные Штаты — наш ближайший сосед на Востоке» [Цыганков 2008: 96—97] задают не столько действительные, сколько морально-политические ориентиры, пределы российской самоидентификации. В противоположность основному положению первой российской внешнеполитической концепции о том, что внешняя политика России должна отвечать ее национальным интересам, последние

актуализируются через противопоставление внутреннего и внешнего, которое, в свою очередь, фиксируется через внешнеполитические дискурсивные практики.

Этот вывод подтверждает анализ либерального постсоветского дискурса с позиций постструктуралистской теории дискурс-анализа. С одной стороны, «геополитика/геополитический» в качестве ключевого означающего способствует замыканию смысла путем вытеснения альтернативных, менее стабильных и объективированных смысловых последовательностей. С другой стороны, своеобразная реабилитация, которую «геополитика» пережила в постсоветском дискурсе, символизирует разрыв в системе сигнификации и конституирует границу между советским и постсоветским дискурсом. Эта граница между внутренним и внешним реализуется через отношения эквивалентности и различия, постулируемые Лаклау и Муффа, которые превращают «иное» в чистое отрицание, а «свое» — в позитивное самостоительное наличие. Так, «геополитика», «прагматизм», «следование национальным интересам» составили в либеральном дискурсе синонимичный ряд, вступая в отношения эквивалентности с такими означающими, как «демократия», «деидеологизация», «сотрудничество» и «приоритет внутренних реформ». Эти отношения эквивалентности были достигнуты за счет исключения, преодоления советского периода нашей истории, представленного следующей смысловой последовательностью: «экспansionизм», «мессианство», «игнорирование национальных интересов», «тоталитаризм», «конфронтация» и «идеологизация внешней политики».

Однако тот факт, что многие представители либерального лагеря к 1993 г. встали на позиции государственничества и прагматического национализма [Light 1995: 34—35], свидетельствует о непрочности и незаконченности либеральной гегемонической артикуляции. В переводе на язык постструктуралистского дискурс-анализа, критика либерального курса на демократизацию представляла собой попытку внести различия, «разомкнуть» сложившиеся цепочки эквивалентности. Так, расхожим стало утверждение о том, что «приверженность общим демократическим ценностям и признание того, что человеческая жизнь бесценна и что индивид выше государства, не устраняют противоречий, особенно учитывая разные геополитические реалии, с которыми столкнулись США и постсоветская Россия» [Lukin 1992: 75]. Аналогичные высказывания о том, что «геополитически мы оказались в ситуации, когда необходимо пересмотреть сами основания нашей внешнеполитической ориентации», что «геополитические ценности являются постоянными и не могут быть отменены историческими событиями» [Lukin 1992: 91; Primakov 1992: 96], показывают, что на уровне наиболее поверхностных и подвижных, деятельностно ориентированных слоев российского постсоветского дискурса означающее «геополитика/геополитический» выполняет одну и ту же функцию. Оно унифицирует смысловое поле российской самоидентификации, выступая в качестве «точки пристрастия» других означающих [Морозов 2009: 63], и одновременно наполняет универ-

сальное понятие «национальный интерес» конкретным историческим содержанием.

Таким образом, в противоположность либеральной гегемонической артикуляции, тяготеющей к стиранию различий между политическими пространствами России и Запада, прагматико-националистическая альтернатива поставила вопрос о пределе российского политического общества, четко обозначив специфику российских национальных интересов. При этом геополитическое «заземление» российских национальных интересов привело к сужению политического поля путем переноса последних из сферы обсуждаемого и политического в сферу очевидного и метафизического. В то же время вытеснение альтернативных артикуляций и гомогенизация российской идентичности произошла за счет проведения полноценной границы, отделяющей внутреннее российское пространство стабильности и порядка от внешнего нестабильного и опасного мира. Так, цепочка эквивалентности, конституирующая российское политическое сообщество по версии «государственников», дополнилась новыми «пустыми означающими». «Безопасность» и «территориальная целостность» вошли в дискурс как символы ценностей, предположительно разделяемых всем российским социумом. Источником угроз безопасности и территориальной идентичности России — нелегальной миграции, терроризма, наркотрафика и т. д. — выступили новые независимые государства, которые, также потеряв различия в системе сигнификации, стали частью «общего экономического и военного стратегического пространства» и потому объектом жизненно важных национальных интересов [Primakov 1992: 95; Lukin 1994: 108].

Однако анализ постепенной дрейфа либеральной позиции в сторону прагматического национализма подтверждает верность утверждения о том, что «подрыв одной артикуляции со стороны другой чаще всего возможен не путем лобового столкновения... а лишь на более глубоком уровне» [Морозов 2009: 120]. Так, несмотря на расхождения по вопросу географии жизненно важных российских национальных интересов, либералы очень скоро перешли на позиции государственников относительно того, что постсоветская Россия является великой державой. Несомненно, утверждения о том, что Россия должна перестать жертвовать своими национальными интересами ради мессианских идей и стать «нормальной великой державой» [Kozyrev 1992: 85; Primakov 1992: 95; Lukin 1993: 93] явились попыткой «вписать» это новое означающее в исходную гегемоническую артикуляцию, предложенную либерально мыслящей политической элитой. В то же время признание великодержавного статуса России неизбежно подрывало радикальное противопоставление постсоветской реальности и советского опыта, на которое опиралась либеральная гегемоническая артикуляция. Остается только строить предположения о том, как эволюционировала бы последняя, если бы советское прошлое вошло во внутреннюю реляционную систему постсоветского дискурса в виде других ключевых означающих, нежели «Россия — великая держава».

Таким образом, к середине 1990-х гг. российское общество, разрозненное и фрагментированное вследствие борьбы различных артикуляционных практик за гегемонию, сплотилось вокруг представления о России как о великой державе. Тем не менее выкристаллизовавшаяся социально-когнитивная структура вряд ли может быть названа гегемонической артикуляцией в терминах Лаклау и Муффа, поскольку — будучи воплощением нового российского внешнеполитического прагматизма — она не вступала в отношения антагонизма с радикальным «Другим». Скорее прагматико-националистическая позиция представляла собой целостную, замкнутую и внутренне дифференцированную систему различий, опирающуюся на менее седиментированные постсоветские и более укорененные, традиционные российские представления о великодержавности.

Так, силовой стратегический компонент великодержавности заключался в способности осуществлять и отстаивать жизненно важные национальные интересы. А помочь сформулировать эти национальные интересы должна была геополитика. Показательным здесь является заявление Евгения Примакова о том, что Россия расположена и в Европе, и в Азии, и потому геополитические факторы продолжают играть важную роль в формировании российской политики в отношении Китая, Индии, Японии, США, Европы, Ближнего Востока, стран третьего мира, поскольку «Россия не может быть великой, не может играть предназначенную ей позитивную роль без широкого геополитического размаха» [Primakov 1992: 96]. Данное заявление одного из ведущих российских «государственников» также показывает, что в рамках прагматико-националистического дискурса произошло «уплотнение» означаемого «геополитика» в направлении того, как этот термин понимается в рамках классической европейской геополитики. Действительно, суммируя итоги борьбы за определение российских национальных интересов начала 1990-х гг., необходимо отметить, что во внешнеполитических заявлениях политиков как либерального, так и прагматико-националистического толка геополитика приобретает черты «практически ориентированного дискурса о государстве, опирающегося на его положение на карте» [Van Der Wusten, Dijkink 2002: 20]. Так, уже к середине 1990-х гг. на политическую карту мира были дискурсивно нанесены различные полюсы силы, с которыми России надлежало установить партнерские, равноправные отношения, по аналогии с миром равновеликих и самодостаточных «больших пространств» классической европейской геополитики.

В то же время «откат» системы сигнификации к более глубинным, «досоветским» смыслам ставит вопрос также и о морально-политическом наполнении означаемого «Россия — великая держава», о новом имидже страны в гуманитарной сфере [Lukin 1992: 93]. Призыв не закрывать глаза на проблемы других, даже следуя своим собственным национальным интересам, является современным политическим и светским эквивалентом не раз звучавшего на протяжении российской истории заявления о том, что Россия воюет не ради материальной выгоды или территори-

альных приращений, а во имя и от имени всего христианства [Neumann 1996: 46]. Прагматизм неминуемо скатывается в цинизм, в отсутствие уравнивающего его «здорового идеализма», а отказ от мессианизма не означает отказ от миссии вообще [Stankevich 1992: 99]. Россия имеет многовековую историю взаимоотношений с исламской и западно-христианской цивилизациями, а также с цивилизациями Юго-Восточной Азии, и этот исторический опыт, а также уникальное место России в структуре ООН помогут ей проложить дорогу многостороннему диалогу цивилизаций, культур и государств [Lukin 1994: 110; Stankevich 1992: 99]. Эта объединяющая, примиряющая миссия России на Евразийском континенте как нельзя более созвучна российским национальным интересам, поскольку геополитический баланс сил, в основании которого лежит ценностный и идейный консенсус, обеспечит стабильность российских границ, ее территориальную целостность. Таким образом, универсалия «национальные интересы» конкретизировались в означаемом «геополитика/геополитический», тогда как пустое означающее «миссия» приобрело постсоветский смысл в сочетании «евразийская миссия». Конstellляция «геополитика/евразийство» актуализирует прагматико-националистический дискурс как внутренне целостную систему различий, в которой «евразийство» исчерпывает идейный, а «геополитика» — практический ориентированный смысл пустого означающего «великая держава».

Однако наличие в постсоветском дискурсивном поле также и фундаментально-националистической артикуляции демонстрирует неустойчивость, неполноту и противоречивость прагматико-националистической позиции в отсутствие антагонизма и исключения «Другого». Действительно, уже в начале 1990-х гг. представители национал-патриотических партий предложили собственное, альтернативное официальному смысловое наполнение означаемых «геополитика» и «евразийство», а также концептуализацию отношения между ними. Новая артикуляция потребовалась прежде всего для того, чтобы включить во внутреннее пространство дискурса новые релевантные аспекты советского опыта. Так, по мнению национал-патриотов, постсоветская Россия как правопродолжательница СССР унаследовала не только статус великой державы; актуальными оставались также отношения антагонизма, поскольку Запад представлял не только вызов международному престижу России, но угрозу ее существованию в качестве независимого суверенного государства и уникальной цивилизации.

Артикуляционная практика, предложенная национал-патриотами, может быть определена в терминах Лаклау и Муффа как одновременная попытка дислокации прежней и фиксации новой системы различий. Подрыв отношений между ключевыми означаемыми «геополитика» и «евразийство» в рамках прагматико-националистической позиции стал возможен постольку, поскольку эти отношения не превратились в стабильную, седиментированную систему различий, не вытеснили другие попытки вписать «геополитику» и «евразийство» в новую смысловую цело-

стность. Согласно Лаклау и Муфф, смысловая избыточность делает случайными — «случайно вариативными» — любые связи между элементами дискурса, а многозначность порождает новые системы различия [Laclau and Mouffe 1985: 99, 111—113]. Можно сказать, что «государственники» выпустили джинна из бутылки, когда попытались предложить новое, прагматическое прочтение российских национальных интересов как геополитических, а ценностных ориентиров — как евразийских в постсоветском контексте. Оказавшись во внутреннем поле дискурса, «геополитика» и «евразийство» были востребованы в рамках фундаментально-националистической артикуляции во всей полноте их концептуальной истории для позиционирования Запада/США как радикального «Другого», угрожающего интересам и субъектности России.

В традиции классической европейской геополитики дореволюционная Россия предстает как государство — держатель евразийского «осевого пространства» и важнейший стратегический противник Британской империи в Азии, а послереволюционная — как регион, который уже в континентальном союзе с сухопутной, авторитарной Германией мог составить глобальную конкуренцию демократиям мирового Океана [Цымбурский 2007: 394—402]. Характерным для европейской геополитики является представление о России как о континентальной империи, способной бросить не ценностный, а прежде всего стратегический вызов западным «державам моря» и потому представляющей угрозу демократии и свободе всего человечества. Российская послереволюционная концепция евразийства с этой точки зрения является зеркальной проекцией европейской геополитики, поскольку в ней Запад, оправдывающий агрессивную политику колониального господства идеями универсальности европейской культуры, выступает в качестве радикального «Другого» России и всего колониального мира [Глебов 2003: 275].

Каким образом новой, фундаментально-националистической артикуляции удастся дестабилизировать, «дислоцировать» прежнюю, прагматико-националистическую позицию? «Европа/Запад» включались во внутреннее поле прагматико-националистической артикуляции на самом поверхностном, деятельностном уровне. Партнерские, равноправные отношения с этим «большим пространством» отвечали российским геополитическим национальным интересам, а признание за Россией роли посредника в разрешении важнейших международных конфликтов составляло фундамент российской стабилизирующей, миротворческой, сдерживающей хаос евразийской миссии. Таким образом, «Европа/Запад» в качестве означающего актуализировал другое, более седиментированное означающее «Россия — великая держава». Однако обращение к концептуальной истории геополитики и евразийства и проведение границы сигнификации путем исключения «Запада» как «Другого» приводит к подрыву логики различий между ключевыми означающими «геополитика» и «евразийство», в результате чего означающие становятся эквивалентны друг другу. Об этом свидетельствует, например, утверждение лидера Коммуни-

стической партии, что «с точки зрения геополитической, Россия — стержень и главная опора евразийского континентального блока, интересы которого противостоят гегемонистским тенденциям «океанской державы» США и атлантического «большого пространства» [Зюганов 1995: 18]. В рамках фундаментально-националистической артикуляции «евразийство» неотличимо от «геополитики», поскольку российская глобальная миссия покидает сферу политического и вырождается в моральное и военно-стратегическое противостояние с глобализирующимся Западом.

Суммируя, необходимо подчеркнуть, что на протяжении 1990-х гг. три ключевые артикуляционные практики предлагали свои версии устойчивого соотношения между означающими «геополитика/евразийство» и означаемым «Россия», конкурируя между собой за право представлять Россию как политическое единство и политическое сообщество. При этом, конкурируя, прагматико-националистическая и фундаментально-националистическая артикуляции антагонизировали либеральную позицию. И «государственники» у власти, и национал-патриоты в оппозиции попытались подорвать либеральную гегемонию, однако первым удалось *первоначально* расширить, а другим — наоборот, «сжать» политическое пространство. Так, критика «государственниками» универсальных ценностей с позиций российских национальных интересов может быть определена в терминах Лаклау и Муфф как демократический антагонизм, который строится на внедрении различий туда, «где гегемоническая артикуляция уже *установила* отношения эквивалентности» [Морозов 2009: 136]. Действительно, не оспаривая важность взятого курса на рыночную экономику и внешнеполитический прагматизм и не ставя перед собой цель полностью дестабилизировать либеральный дискурс, «государственники» попытались «разомкнуть» цепочку эквивалентности и заменить означающее «универсальные ценности» на «национальные интересы». Первоначально эта замена «приоткрыла» российское политическое пространство, сделав советское прошлое и российские национальные интересы предметом общественной рефлексии. Однако в конечном итоге решение, предложенное «государственниками», — «геополитическая» фиксация и конкретизация российских национальных интересов и одновременная актуализация традиционного представления о великодержавности — привело к сужению сферы политического. В результате демократический антагонизм превратился в популистский, способствующий стабилизации здравого смысла и замыканию сообщества. В то же время критика либерализма, предложенная национал-патриотической оппозицией, изначально носила характер популистского антагонизма, поскольку строилась на радикальной гомогенизации внутривнутриполитического пространства путем вытеснения вовне либеральной альтернативы и ее включения в антироссийский мондиалистский проект, продвигаемый Западом.

На основе проведенного исследования российского внешнеполитического дискурса в 1990-е гг. мы можем сделать следующие выводы. Теория постструктуралистского дискурс-анализа позволяет

критически переосмыслить внешнюю политику и концептуализировать ее как дискурсивную практику, которая утверждает и конституирует то политическое сообщество, от имени которого она артикулируется. Конституирование политического сообщества состоит в проведении границы между внутренним и внешним, между уместными, правильными и неуместными, альтернативными репрезентациями и интерпретациями, между «собой» и значимыми «другими». При этом граница конституируется как единая, целостная реляционная система сигнификации, представляющая собой отношения различия и эквивалентности. Хотя отношения «Я — Другой» предполагают разную степень инаковости, Лаклау и Муфф настаивают на антагонистическом характере социальных границ, когда идентичности, противоречащие установленному «режиму правды», вытесняются за пределы дискурса, соотносясь с миром лжи, хаоса и угрозы. При этом, в отличие от популистского антагонизма, который опирается на уже установившиеся, седиментированные отношения эквивалентности и различия, демократический антагонизм вносит новые различия в уже сложившиеся цепочки означающих, порождая альтернативные артикуляции и репрезентации. Таким образом, обобщая, дискурс-анализ позволяет концептуализировать одновременную динамику унификации, гомогенизации и фрагментации, неоднородности, характеризующие любое политическое сообщество. Более того, как показал проведенный анализ российского внешнеполитического дискурса, данная методология помогает переосмыслить политический плюрализм и толерантность как наличие альтернативных — демократических и популистских — антагонизмов, предполагающих отношения различия между множественными «Я» и «Другими».

ЛИТЕРАТУРА

1. Волков А. В. Лингвистический поворот в философии XX в. и методология социально-гуманитарных наук // Уч. зап. Петрозавод. гос. ун-та. Сер. «Социология. Философия». 2008. № 1. С. 92—99.
2. Глебов С. Границы империи и границы модерна. Антикониальная риторика и теория культурных типов в Евразийстве // Ab Imperio. 2003. № 2. С. 267—291.
3. Зюганов Г. А. Россия и современный мир. — М.: Информпечать, 1995.

N. N. Morozova
Nizhny Novgorod, Russia

FOREIGN POLICY AS DISCURSIVE PRACTICE: ON THE QUESTION OF CONSTITUTION OF A POLITICAL COMMUNITY

ABSTRACT. *The article presents an interpretation of foreign policy as a discursive practice which constitutes the political community in the name of which it is articulated. The article argues that political community's identity is not objective but discursive, as it does not exist irrespective of discursive practices which are mobilized in the process of public legitimization of foreign policy. In such interpretation, political discourse, embracing the images of "Me" and a number of "Others", becomes the central practice in the process of production and reproduction of political identity. The article views the constitution of Russia as a political community in the post-soviet foreign policy discourse through the lens of the notions of democratic and populist antagonism, introduced by E. Laclau and Ch. Mouffe. These relatively new notions allow reconsidering traditional ideas about political pluralism and tolerance. For example, criticism by "statists" of universal values from the position of Russian national interests may be defined as democratic antagonism, which is built on introduction of differences in the sphere, where hegemonic articulation has already established the relations of equivalence. Indeed, without trying to challenge the importance of the course to market economy and foreign policy pragmatism and without making a point of fully destabilizing liberal discourse, "statists" made an attempt to "break" the chain of equivalence and replace "universal values" for "national interests".*

KEYWORDS: identity; foreign policy; discourse; discourse analysis; antagonism; articulation; poststructuralism; political pluralism; tolerance.

ABOUT THE AUTHOR: Morozova Nataliya Nikolaevna, Associate Professor of Department of Linguistics and Intercultural Communication, Faculty of the Humanities, National Research University Higher School of Economics, Nizhny Novgorod, Russia.

4. Морозов В. Е. Понятие государственной идентичности в современном теоретическом дискурсе // Международные процессы. 2006. Т. 4, № 1 (10). URL: <http://www.intertrends.ru/tenth/007.htm> (дата обращения: 15.06.2015).

5. Морозов В. Е. Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества. — М.: Новое литературное обозрение, 2009.

6. Слободяник Н. Б. Конструирование идентичности в политическом дискурсе: к вопросу о роли социального антагонизма // Политическая лингвистика. 2007. Т. 2, № 22. С. 60—67.

7. Цымбурский В. Хэлфорд Макиндер: трилогия хартленда и призвание геополитика // Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993—2006 / В. Цымбурский. — М.: РОССПЭН, 2007.

8. Campbell D. Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity. — Minneapolis: Univ. of Minnesota Pr., 1998.

9. Guzzini S. The Concept of Power: A Constructivist Analysis // Millennium: Journ. of International Studies. 2005. Vol. 33. No. 3. P. 495—521.

10. Hansen L. Security as Practice. Discourse Analysis and the Bosnian War. — London; New York: Routledge, 2006.

11. Jackson P. T. Civilizing the Enemy: German Reconstruction and the Invention of the West. — Ann Arbor: Univ. of Michigan Pr., 2006.

12. Kozyrev A. A Transformed Russia in a New World // International Affairs (Russia). 1992. Т. 38, № 4. С. 85—91.

13. Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. — London: Verso, 1985.

14. Lukin V. A Transformed Russia in a New World // International Affairs (Russia). 1992. Т. 38, № 4. С. 91—94.

15. Lukin V. Russia and Its Interests // Rethinking Russia's National Interest / ed. by S. Sestanovich. — Washington, D. C.: Center for Strategic and International Studies, 1994. — P. 106—115.

16. Neumann I. Russia and the Idea of Europe: A Study in Identity and International Relations. — London; New York: Routledge, 1996.

17. Primakov Y. A Transformed Russia in a New World // International Affairs (Russia). 1992. Т. 38, № 4. С. 94—98.

18. Stankevich S. A Transformed Russia in a New World // International Affairs (Russia). 1992. Т. 38, № 4. С. 98—101.

19. Torfing J. Discourse Theory: Achievements, Arguments, and Challenges // Discourse Theory in European Politics: Identity, Policy and Governance / ed. by D. Howarth, J. Torfing. — Houndmills; New York: Palgrave Macmillan, 2005. P. 1—32.

20. Van Der Wusten H., Dijkink G. German, British and French Geopolitics: The Enduring Differences // Geopolitics. 2002. Vol. 7, № 3. P. 19—38.

21. Wæver O. Identity, Communities and Foreign Policy: Discourse Analysis as Foreign Policy Theory // European Integration and National Identity / ed. by L. Hansen, O. Wæver. — London: Routledge, 2002. P. 20—49.

REFERENCES

1. Volkov A. V. Lingvisticheskiy povорот v filosofii XX v. i metodologiya sotsial'no-gumanitarnykh nauk // Uch. zap. Petrozavod. gos. un-ta. Ser. «Sotsiologiya. Filosofiya». 2008. № 1. S. 92—99.
2. Glebov S. Granitsy imperii i granitsy moderna. Antikolonial'naya ritorika i teoriya kul'turnykh tipov v Evraziystve // Ab Imperio. 2003. № 2. S. 267—291.
3. Zyuganov G. A. Rossiya i sovremennyy mir. — M. : Informpechat', 1995.
4. Morozov V. E. Ponyatie gosudarstvennoy identichnosti v sovremennom teoreticheskom diskurse // Mezhdunarodnye protsessy. 2006. T. 4, № 1 (10). URL: <http://www.intertrends.ru/tenth/007.htm> (data obrashcheniya: 15.06.2015).
5. Morozov V. E. Rossiya i Drugie: identichnost' i granitsy politicheskogo soobshchestva. — M. : Novoe literaturnoe obozrenie, 2009.
6. Slobodyanik N. B. Konstruirovaniye identichnosti v politicheskom diskurse: k voprosu o roli sotsial'nogo antagonizma // Politicheskaya lingvistika. 2007. T. 2, № 22. S. 60—67.
7. Tsymburskiy V. Khelford Makinder: trilogiya kharlenda i prizvanie geopolitika // Ostrov Rossiya. Geopoliticheskie i khronopoliticheskie raboty. 1993—2006 / V. Tsymburskiy. — M. : ROSSPEN, 2007.
8. Campbell D. Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity. — Minneapolis : Univ. of Minnesota Pr., 1998.
9. Guzzini S. The Concept of Power: A Constructivist Analysis // Millenium : Journ. of International Studies. 2005. Vol. 33. No. 3. P. 495—521.
10. Hansen L. Security as Practice. Discourse Analysis and the Bosnian War. — London ; New York : Routledge, 2006.
11. Jackson P. T. Civilizing the Enemy: German Reconstruction and the Invention of the West. — Ann Arbor : Univ. of Michigan Pr., 2006.
12. Kozyrev A. A Transformed Russia in a New World // International Affairs (Russia). 1992. T. 38, № 4. S. 85—91.
13. Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. — London : Verso, 1985.
14. Lukin V. A Transformed Russia in a New World // International Affairs (Russia). 1992. T. 38, № 4. S. 91—94.
15. Lukin V. Russia and Its Interests // Rethinking Russia's National Interest / ed. by S. Sestanovich. — Washington, D. C. : Center for Strategic and International Studies, 1994. — P. 106—115.
16. Neumann I. Russia and the Idea of Europe: A Study in Identity and International Relations. — London ; New York : Routledge, 1996.
17. Primakov Y. A Transformed Russia in a New World // International Affairs (Russia). 1992. T. 38, № 4. S. 94—98.
18. Stankevich S. A Transformed Russia in a New World // International Affairs (Russia). 1992. T. 38, № 4. S. 98—101.
19. Torfing J. Discourse Theory: Achievements, Arguments, and Challenges // Discourse Theory in European Politics: Identity, Policy and Governance / ed. by D. Howarth, J. Torfing. — Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, 2005. P. 1—32.
20. Van Der Wusten H., Dijkink G. German, British and French Geopolitics: The Enduring Differences // Geopolitics. 2002. Vol. 7, № 3. P. 19—38.
21. Wæver O. Identity, Communities and Foreign Policy: Discourse Analysis as Foreign Policy Theory // European Integration and National Identity / ed. by L. Hansen, O. Wæver. — London : Routledge, 2002. P. 20—49.

Статью рекомендует к публикации д-р филол. наук, проф. Т. В. Романова.